Константин Сергеевич Аксаков

Письма о современной литературе

Константин Аксаков

Письма о современной литературе

«Public Domain»

1856

Аксаков К. С.

Письма о современной литературе / К. С. Аксаков — «Public Domain», 1856

«Было время, и не так давно, когда другой характер имела наша литература: другие споры, другие книги и журналы. Перемена совершилась в короткое время – в течение много пятнадцати – двадцати лет. Впрочем, быстрота перемен составляет характеристику нашей литературы. Откуда же такое явление?..»

© Аксаков К. С., 1856
© Public Domain, 1856

Содержание

Письмо I 5
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Константин Сергеевич Аксаков
Письма о современной литературе

Письмо I
Литература предыдущей эпохи

О возраст детских лет!
почто ты был не вечный!
И. Дмитриев

Было время, и не так давно, когда другой характер имела наша литература: другие споры, другие книги и журналы. Перемена совершилась в короткое время – в течение много пятнадцати – двадцати лет. Впрочем, быстрота перемен составляет характеристику нашей литературы. Откуда же такое явление? Конечно, оно возникло не без причины. Уже с первого взгляда подобная подвижность и легкость не предвещают ничего доброго и становятся подозрительны; мы знаем, что серьезный и самобытный ход иначе движется, что при глубине общего основания нелегко отделываются от одного убеждения и принимают другое. Итак, подобная легкость и переменчивость – не слишком хороший признак; и точно, он не обманывает. Если мы повнимательнее вглядимся в нашу литературу, чем представится она после строго испытующего и долгого взора? – Явлением не очень утешительным. Литература наша – произведение искусственное, заемное, вытекшее из ложного начала подражательности; она – собрание форм, отблесков и более ничего. Вот почему так быстро сменяются формы, не утвержденные на прочной мысли, почему переливаются отсветы и отблески, лишенные собственного света и блеска. Мы говорим теперь не об отдельных талантах, но об общем ходе литературы, которого не изменяют, которому повинуются и таланты. Да, надо признаться, литература наша – явление вовсе не серьезное, как бы писатели ни морщили бровей и ни принимали задумчивого самоуглубленного вида: мрачного a la Byron, вдохновенного a la Shiller, спокойного a la Goethe, меланхолического a la Viand и пр., и пр. И до тех пор будет литература у нас несерьезна, пока не оставит ее жалкая подражательность, а она не оставит ее, пока не пробудится в ней самобытность, а самобытность не пробудится в ней, пока мы будем продолжать быть попугаями и не быть русскими, пока не узнаем настоящим образом русской истории, русского языка, русской жизни и пока не сроднимся вновь с основами русского быта.

Назад тому 15–20 лет и книги, и альманахи, и журналы толковали то же, но не о том, о чем теперь толкуют. И вид журналов был не тот, и местоположение их было не то. Журналистика была в то время большим достоянием Москвы, чем Петербурга. Теперь наоборот: теперь вся журналистика в Москве представляется одним «Москвитянином», который несколько раз опаздывал, почти прекращался, а теперь вдруг стал издаваться бодро и аккуратно, ухватившись за коммерчески – литературные обороты, т. е. издание романов при журнале, помещение целых комедий и т. п. – Один журнал в Москве! Беглый взгляд, который хотим мы бросить на литературу 30-х годов и позднее, до нашего времени, – объяснит нам, вероятно, это, по-видимому, странное явление, и оно нам странным не покажется.

Вспомним теперь, о чем толковали журналы и вся литература около, т. е. и прежде и после 30-х годов нашего столетия. Еще невозмутимо и с полным убеждением шли мы по дороге просвещения, указанной Западом; еще вся задача нашей умственной деятельности ограничивалась присвоением чужих трудов, чужой мысли. Сокровища поэзии и философии западной прямо, без сомнения в ложности пути, принимались всею вообще литера-

турой нашей. Когда все направление было таково, когда искренность убеждения, пылкая душа и добросовестный труд были на одной и той же стороне, естественно, что Москва, разделявшая эти убеждения, была впереди. Сверх того, ей по преимуществу свойственный ученый характер клал свой отпечаток на ее словесные произведения. И Москва была впереди, пока интерес мысли и поэзии, чуждых нам и заимствованных у чуждых народов, был интересом общим, убеждением несомненным и привлекал на свою сторону и труд, и дарование. Это было своего рода блестящее время. Вспомним «Московский вестник», постоянно благородный и изящный, вспомним прекрасные переводы и статьи Шевырева, вспомним постоянно раздававшийся хор поэтов: Пушкина, Баратынского, Языкова, Хомякова, тогда еще, как и все, писавшего стихи, но содержанием их постоянно далеко опережавшего это стихотворное время. К этой веселой эпохе принадлежат имена и других поэтов, более или менее талантливых, имена Веневитинова, Дельвига, Тютчева, Подолинского и др. Вспомним красивые повести Павлова, Мельгунова, даже повести Погодина, не лишенные живости рассказа, из которых одна с решительным достоинством. Вспомним прекрасно написанные статьи (тогдашние) Ивана Киреевского, приятные, согретые чувством статейки Максимовича и пр., и пр. Все это было очень изящно, все было совершенно довольно своей дорогой и думало, что деятельными трудами и развитием своих дарований следовало только идти далее, не меняя дороги. Любовь к России высказывалась беспрестанно: мой край родной, мой Север дальний, мои вьюги, мои мятели и т. д. – слышалось очень часто. Но это была та удобная любовь, которая не мешала быть вовсе чуждым своей родной земле: хвалили большею частью вьюгу и мороз, да и то часто в теплом климате. Впрочем, все это было без злого умысла, все это было добродушно. Весь круг литераторов, упражняя свои способности по легкой дороге подражания, был доволен как нельзя больше. Все пели очень ладно и не подозревая какой-нибудь другой музыки. А для благородного негодования было также свое поле: были Булгарин и Греч (имена, обратившиеся в нарицательные), можно было выехать на них и потешиться: пустить эпиграммой, статьей и после сделанного набега отдыхать на лаврах. Литература того времени была прямая наследница литературы Державинской, литературы Россов, Россиян, но не русских людей. Самостоятельная мысль еще не обнаруживалась, стремления к понимаю русской земли, сознания ложности пути Западного просвещения еще не было. Один Хомяков (сама справедливость требует этого сказать) понимал ложность Западной дороги, которою шли мы, понимал самостоятельность нравственной задачи для Русской земли; один он сознавал в себе и тогда, может быть, еще не вполне отчетливо, то, что теперь определенно и ясно в нем выступило, и высказывал это в своих стихотворениях. Но он был один, и никто тогда не понимал его. В самых первых, молодых его произведениях («Иностранка», «Клинок» и пр.), в его первой трагедии «Ермак» еще является одна неопределенная любовь или, лучше, стремление к своей земле, – но скоро разумение прояснило природное чувство, и оно проникнулось истиной. С той поры любовь к родной земле, выражающаяся в стихах, есть в то же время понимание, не слепая, но ясно взирающая любовь. Вспомним только его вторую трагедию, «Димитрий Самозванец», прекрасные и важные стихотворения «К Западу», «Ключ», «Остров», «Россия» и др. Эти стихотворения вовсе не стихотворны в том смысле, что содержание и значение их далеко перешагивает узкие рамки стихотворения и вообще стихотворного периода. В доказательство слов наших приведем его стихотворение «К Западу», еще полное такого к Западу удивления, от которого скоро, в дальнейшем своем понимании, освободился Хомяков. Это стихотворение написано очень давно, кажется, в 1834 или 35-м годах. Тем замечательнее оно теперь.

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,

И звезды лучшие срываются с небес.

А как прекрасен был тот Запад величавый!
Как долго целый мир, колена преклонив
И чудно озарен его блестящей славой,
Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив.

Там солнце мудрости встречали наши очи.
Кометы грозных сеч бродили в высоте,
И ясно, как луна во мраке летней ночи,
Сияла там любовь в невинной чистоте.

Но горе! век прошел, и мертвенным покровом
Подернут Запад весь. Там будет мрак глубок…
Услышь же глас трубы, восстанье сиянье новом,
Проснися, дремлющий Востоке.

Но никто не понимал тогда Хомякова, все благоговели пред Западом и, не обращая внимания на эти стихотворения Хомякова, восхищались другими его стихотворениями, особенно тем, которое начинается:

Когда гляжу, как чисто и зеркально
Твое чело…

и пр.

Хотя тут ничего прекрасного мы не находим, да и чело, которое может служить зеркалом, кажется, не имеет в себе ничего привлекательного.

Кроме «Московского вестника» были в Москве и другие журналы, о которых мы говорить не станем, ибо это было бы подробнее, нежели мы хотим. Издавался еще «Вестник Европы», принадлежавший к более древней эпохе литературной, а также «Галатея» и «Атеней»; и тот и другой журнал составляли оттенки «Московского вестника».

Рядом с «Московским вестником», где ясно высказывались добросовестный труд, убеждение и увлечение, стоял «Телеграф», представлявший уже другую сторону общего тогда для всех Западного направления. Что было делом для одних, то там обращалось в спекуляцию; вместо учености являлось там нахальство, дерзость и ловкий прием ругать, что до сих пор хвалилось: это легко, а потому привлекает. «Телеграф» был предшественником целой эпохи литературной. Для публики нашей чересчур много значили авторитеты – «Телеграф» напал на авторитеты. В «Телеграфе» это не было порывом истины, хотя бы наливом негодования, – нет, в нем это была *лихая хватка* и больше ничего, желание отличиться; лестно казалось напасть на славу, пример Моськи Крылова для многих соблазнителен. Но это «Телеграфское» нападение совпало с исторической минутой и, повторяем, имело смысл; смысл этот обозначился не в «Телеграфе», но внутри публики. Не «Телеграфу» и не его преемникам современным Петербургским извлечь было пользу и истину из всех этих нападений, потому что «Телеграф» и журналы, его преемники, кругами двигались или двигаются – но польза из кружения, однако, была для взгляда на литературу вообще, для критики, для сознания, для хода самой литературы. Бойкость и ловкость, расторопность «Телеграфа», которые часто бывают признаками отсутствия серьезного труда и сопровождают торговую спекуляцию, давали ему большой ход в публике. Но так как история бывает неразборчива

в средствах и самое зло обращает на пользу (что, однако, нисколько не извиняет зла), то и «Телеграф» имел значение в ходе литературы.

Позднее явился «Телескоп»: в нем слышался отчасти тон «Телеграфа», отчасти тон «Московского вестника»; сверх того, в «Телескопе» были и положительные достоинства, известная степень учености, ума и таланта. Впрочем, не было в этом журнале ни увлечения, ни искренней преданности какой-нибудь мысли. Издатель «Телескопа» Надеждин сделался известным еще прежде критическими статьями на Пушкина. Бойкость слога и ловкость речи этих статей, которые обличают отсутствие эстетического чувства автора, имели успех в утомленной от поэтических восторгов публике. Подражательное русское общество испытывало подражательное удовольствие (к этому было уже оно приучено «Телеграфом»), когда нападали на какую-нибудь славу. А теперь нападали наконец на самого Пушкина. Конечно, критики Надеждина, придирчивые, грубые, но умно написанные и отчасти справедливые в том только отношении, что в Пушкине были свои, и общие всем нашим литераторам, недостатки, имели влияние преимущественно на толпу, никогда не понимавшую Пушкина и только ахавшую перед ним; но остальная часть публики более или менее их принимала, оттого, может быть, что смутно слышалось в них возвещение о прекращении стихотворного периода вообще.

Между тем, в литературном кругу московском начинала происходить перемена, обозначившаяся ослаблением прежней деятельности. «Московский вестник» уже давно прекратился. Предпринят был новый журнал в том же духе, «Московский наблюдатель». Появились прежние имена, но прежней искренности не было, но все уже было вяло: журнал не пошел, передан был совершенно другим издателям, которые выдвинули было горячо германскую поэзию, и особенно философию, снова на сцену; но это уже была только вспышка, она скоро прошла, и «Московский наблюдатель», переданный еще кому-то, потерялся в неизвестности.

В Москве возникла новая мысль, мысль о вреде подражательности, о самобытности русской жизни, возникла еще неясно, – но очевидно, что при таком состоянии журнальная деятельность, да и вообще литературная, становилась невозможною. Настало время внутренней работы, предварительных изысканий и исследований, обозначающееся извне тишиной и наружным бездействием. Между тем в это время раздумья и разработки возвысился литературный Петербург, которому мало было дела до мысли, убеждений, самостоятельности и тому подобных московских странностей. Ухватившись за слово «практицизм», взглянул Петербург на журналистику со стороны торговой, и вот явилась «Библиотека для чтения», преемница «Телеграфа» относительно дерзости суждений наобум о том, чего не знаем, относительно литературной храбрости. Это был первый толстый журнал, который как будто, казалось, говорил (мог сказать с полным правом):

Трус только лишь худеет,
А храбрый человек час от часу толстеет.

Поняли мораль петербургские журналисты, и журналы в Петербурге наперерыв начали отличаться друг перед другом и храбростью писаний, и толщиною. Но не в этих литературных Проказах и Вольностях заключается существенное дело. Обратим внимание на московскую литературную деятельность и постараемся понять ее.

Отречение от своей народности, полная вера в истину чужих начал, чужого пути есть, бесспорно, сомнение или, лучше, неверие в существование *своих* начал, *своего* пути, другими словами, неверие в существование *своей* жизни, *своей* земли, ибо, как скоро сказано народу или стране: «Ты не умеешь ничего сделать своего, в тебе нет ничего своего хорошего, подражай! ты годен только на это!» – такого рода слова отрицают самое существова-

ние страны; ибо *быть* для человека значит быть самостоятельным; низвести же человека на степень обезьяны значит его уничтожить как человека, а какое же другое существование может называться существованием для человека, если не человеческое? Никакое. Отречение от своей народности было и с нами, русскими людьми: принятие чужих начал, неверие в существование своей Русской земли, Русского народа – все это было с нами, и все это еще лежит на нас. Россия разделилась на две половины: простой народ остался при своей самобытности, верхние и т. п. образованные классы уверовали в Запад. Такова сила всякого ренегатства, что она вмиг искажает человека. Торжественное отречение от своей земли скоро изменило так наших отступников, что русских в них и узнать было нельзя. Самый факт отречения от своей родной земли для последующих поколений, воспитанных в духе чужих краев, был уже не нужен: эти поколения росли и жили чужим умом и чужою жизнию, в полном неведении о русской земле, не подозревая, что есть какое-нибудь спасение, кроме Парижа и Лондона, кроме Западной Европы, не подозревая, что есть свои родные начала, свой общественный жизненный строй, одним словом, что есть Русская земля. В бедности и в трудах стоял русский образ и русская жизнь, непонимаемые, непризнаваемые, игнорируемые переобразованными классами. Русская земля очутилась в положении Америки: ее надо было открыть. Нашлись Колумбы, которые сказали, что она есть Русская земля. Каким смехом и поношением были встречены они: названия славянофилов, русопятов, квасных патриотов, обвиняемых в ретроградности, посыпались со всех сторон; но те, в которых родилось гражданское убеждение в существовании Русской земли, не смутились. Сперва, как это обыкновенно бывает, мнение о самобытности русской высказывалось неясно, людьми, стоящими отдельно и почти одиноко, людьми, становившимися в резкую противоположность с духом своего времени, под целый град прозвищ и насмешек, а главное, непониманий ниже толкований. Такие передовые люди – Болтин, Шишков и в особенности Грибоедов – в своем «Горе от ума» – восстали против подражательности, указали на необходимость самобытности для нас, сказали, что русским надо быть русскими, что европеизм, у нас образовавшийся, есть зло. Эти благородные лица – утешительное, отрадное явление среди эпохи рабской подражательности. Но, как сказали мы, эти передовые люди стояли одиноко, не понимались и не награждались сочувствием; тупо внимала им окружающая толпа, и если отзывалась, так совсем не на то, что было их задушевным призывом, что было воплем их души. Наконец, передовым человеком явился Хомяков, принесший с собою на поприще умственной жизни ясное, полное и цельное понимание Русской земли и вместе общих нравственных и умственных устоев, доступных собственно русской мысли. Долго стоял он одиноко, но он дождался времени, когда одиночество его прошло. В Москве, в которой средоточие влияний нравственной силы русской, русская мысль нашла себе новое выражение и, высказанная прямо, без всякого иносказания, без страха насмешки, без всякого смягчения и уступки, громко, во всеуслышание постоянно повторяемая, нашла наконец ответ и образовала уже целое направление, встретившее Хомякова на дороге и соединившееся с ним. Вместе с этим внесено было деятельное начало в литературный круг московский. Первое на этот раз выражение русской мысли был взгляд на Москву и Петербург как на представителей двух противоположных начал. В ряды новых поборников мысли стали люди молодые, посвятившие свои силы на служение этому новому направлению. Да и те московские литераторы, которые так добросовестно некогда действовали на другом поприще, вступили более или менее на это новое, потребовавшее от них новых трудов мысли и учености. Хомяков, доселе одинокий, доселе часто под шуткою скрывавший глубокие свои убеждения, далеко опередившие его сверстников и едва понятные для них, – Хомяков решительно и прямо отозвался новому направлению и стал в молодые ряды; одиночество его прошло: он дождался только своего времени. Все, что высказывало новое направление, не было новостью для Хомякова. То, что принадлежит собственно новому высказыванию мысли – это деятельное начало, внесенное

этим высказыванием, это образование целого направления. Почему этого не было до сих пор – это другой вопрос. Может быть, потому, что не было еще такой искренной, смелой и без оглядок высказывающей проповеди и вместе с тем стремления во всех выражениях жизни на деле определить свои слова.

Едва только явилось новое выражение русской мысли, новый упрек в подражательности, новый призыв к самостоятельности, новое указание на древнюю Русь, как со всех сторон посыпались самые недобросовестные насмешки, самая ожесточенная брань, враждебные выходки всякого рода. Поклонники российского европеизма понимали, что это уже не авангард, не передовые ошибки, но что здесь начинается решительная борьба, которая должна окончиться победой какой-нибудь стороны. Прежде всего защитники полуторастолетнего иностранного влияния попробовали взять насмешкой. Сейчас явилось прозвание *славянофил*, которое очень неловко прикладывалось к русскому направлению, – впрочем, цель была только чтобы дать какое-нибудь прозвище; потом, как это водится, принялись искажать мысли московских литераторов, даже выдумывать и печатать анекдоты о славянофилах. А после гонениям подверглась Мурмолка. Заметьте, что о мурмолке никто не писал из поборников русской мысли. Мурмолка – старинная, очень красивая русская шапка; в Москве многие стали ее носить. Это обстоятельство сейчас перешло в журналы и сборники петербургские: принялись бранить мурмолку и прозой, и стихами. Очевидно, что появление нового направления беспокоило петербургских литераторов; им было неловко, как бывает неловко пустому светскому франту, когда заговорят при нем о чем-нибудь серьезном и дельном, особенно если он увидит, что это не случайное явление, а целая эпоха, которая должна сменить ту пустоту, где ему было так хорошо, привольно. А между тем как просто и законно требование: *быть собою*, требование, встретившее такое сильное сопротивление со стороны поклонников русского европеизма. Впрочем, это понятно: быть собою труднее, чем быть кем-нибудь другим, труднее мыслить самому, чем повторять мысли чужие. И как не хочется избалованному уму, вечно ограничивавшемуся только пониманием чуждого, стать на свои собственные ноги и пойти своим путем, взять на себя труд самостоятельной мысли. Конечно, труд этот тяжел, и потому мы не можем слишком негодовать на противников самостоятельного направления: нельзя не быть к ним снисходительными.

Понятна теперь нам и неослабевшая деятельность Москвы в ту пору, когда еще не возникало сомнение в справедливости самой деятельности, когда, следовательно, и талант, и убеждение шли по той же дороге. Понятно и кажущееся бездействие или малая степень деятельности Москвы (и усиление деятельности Петербурга) в настоящее время, когда убеждение и талант оставили прежнюю сферу. Теперь в Москве возникло и определилось новое направление, стремление к самобытным началам русской земли. Возникла (чего не было с Петра и до сих пор) деятельность самостоятельной русской мысли. Такое направление открывает впереди целый ряд трудов дельных, внимательных, требует новой учености. При таком самостоятельном, только что начинающемся труде, при работе мысли и ученых изысканиях текущая литературная деятельность, в особенности журнальная, не может иметь места. Журнал требует всего готового и определенного, журнал требует известного легкомыслия, требует признания текущей литературы, а мыслящая и трудящаяся Москва, начавшая великое дело самостоятельной мысли, не могла при своей домашней, так сказать, работе, без нарушения добросовестности, вступить на журнальное поприще (которое и всегда мало имеет в себе серьезного). Могла быть написана статья, мог быть собран «Сборник»: но журнал со своими отделами повестей, наук и пр., требовавший ежемесячного их пополнения (что и делается, даже и теперь, или по чуждой мысли, или без всякой мысли), – журнал не мог быть выражением московской деятельности, был для нее недостойным образом проявления.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.